

Мне снится сон...

Мне часто снится странный сон.

Я иду по ночной улице, ступая легко и невесомо, как ангел. В космической высоте светит нереально загадочная луна, заливая здания призрачным ломким светом. Деревья шушукаются за спиной, как взволнованные девушки, и дома уносятся крышами в небо. Я иду по брусчатке и знаю, что дорога эта без конца, она ведет меня в Никуда. Я знаю, что скоро улица станет сужаться в бесконечную линию и превратится в туннель. В начале темного туннеля ждет меня прозрачная фея в платьице из перистых облаков, тонкая, легкая и соблазнительно-восхитительная. Я иду к ней, протягиваю к ее бесплотному телу руки, парю, отрываясь от земли. Она убегает. Я настигаю ее. Ощущаю пальцами тонкий шелк невесомого платья, вижу, как в прозрачных глазах отражается лунный диск, вдыхаю ее легкое озоновое дыхание. Я почти счастлив... Меня томит невыразимо сладкое чувство, в этом чувстве всё — и любовь, и тоска, и знание близкой потери, и неверие, и беспомощность, и слабая, невыносимо слабая надежда избежать того, что произойдет... Но вот воздушное одеяние тает под моей рукой, лунные волосы превращаются в жесткую гриву, глаза наливаются кровью, и тихий зловещий смех отчетливо, как стаккато, рас-

сыпается по каменистой мостовой. Мне становится жутко. Я обнимаю уже не бестелесную эфирную фею, а хохочущую скалу с огненными глазами. Камень сжимает меня в объятиях, сдавливает грудную клетку с нечеловеческой силой — становится трудно дышать. Я кричу, но не слышно ни звука, я отталкиваю ледящего душу идола, но понимаю, что сил для борьбы у меня нет. Объятия становятся всё крепче и крепче, всё теснее сжимается кольцо застывших рук. Каким-то непостижимым образом я вырываюсь и бегу, бегу по улице, взывая о помощи. Окна домов открыты, в них я вижу лица друзей. Вот на первом этаже у окна стоит Сашка Абалкин и молча смотрит на меня чужим, равнодушным взглядом. Я кричу, молю о спасении — он не отвечает. Хохоча, каменный истукан приближается к окну, за которым стоит Сашка, закрывает ставни и рисует мелом крест, перечёркивая окно. И я понимаю — Сашки больше нет... А в доме напротив — Колька Ломакин в белой рубашке с распахнутым воротом, рядом в окне — Славка Гофман, за ним выглядывает стриженный под ноль Славка Бешеный. Я вижу сочувствие на их лицах, но они неподвижны. В страхе бегу к ним, оглядываясь и спотыкаясь. Мне кажется, что они меня непременно спасут. Но каменное чудовище с равнодушной ухмылкой закрывает очередное окно, ставя жуткий крест. Ставит крест и на окне, за которым стоит Игорь Копелян. Окна... Окна... Я бегу... Образина чертит кресты одно за другим, одно за другим... И вот я остаюсь совершенно один на пустынной темной улице. Чудище исчезло. Но страх не проходит. Я чувствую, я знаю, я ощущаю всем своим существом, что позади меня — Она. Я слаб, у меня нет даже сил бояться. Я хочу бежать, но ноги с трудом, как ватные, отрываются от земли. Я решаю драться, машу руками, обороняясь, но руки наливаются неподъёмной тяжестью. Мне страшно! Боже, как мне страшно! А Она растёт, разбухает, увеличивается в размерах. Что это?

Она уже выросла до неба, налитые кровью беспощадные глаза светят, сжигая всё вокруг, как два прожектора. Я падаю. Я не двигаюсь. Я понимаю — всё, это конец... И так мне становится тоскливо, так безысходно плохо, что страх уходит, остаются только злость и жгучая ненависть. Да, только злость и ненависть. Иссущающая злость и испепеляющая ненависть. Я ненавижу это страшилище, ее недвижимую безнадёжность, и я хочу уничтожить несущего гибель монстра... Я бросаюсь ей навстречу и наталкиваюсь на гранитный холод ее тела, я колочу неуязвимое тело кулаками, так что разбитые в кровь костяшки пальцев немеют... Но вдруг жалящий смех рассыпается словно пригоршня горошин, раздаётся звон битого стекла, огромная каменная стена передо мной рушится, превращаясь в прозрачные осколки со смертельно острыми краями, — и вот я, уронив руки, стою над разбитым зеркалом. Я победил Ее... Да, наверное... Но во мне нет опьяняющей радости победы, в душе серый пепел, унылая горечь невозполнимой потери и снова — неукротимая тоска. Смертельная. Тонкая струйка алой крови, извиваясь, как раненая змея, вытекает из-под осколков разбитого зеркала и пачкает мои ноги. Мне больно. О боже, как мне больно! Боль пронзает меня насквозь...

От этой боли я просыпаюсь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Меня зовут Сергей Копцев. Друзья зовут меня Серёгой, мама — Серёженькой, знакомые девушки — Серёжей. В школе уважительно величали Копом. Коп, по представлениям, почерпнутым из американских боевиков третьей руки, — это нечто невероятно крутое, с округлыми бицепсами величиной с голову годовалого младенца, выдающейся вперед челюстью зако-

релого бандита и куриными мозгами, достаточными, чтобы проломить головы паре воинствующих личностей злобного вида.

Впрочем, без ложной скромности — я не вполне соответствую своей кличке. Внешностью меня бог не обидел, за что я ему премного благодарен, но на самом деле я далеко не такой отменный кулинар, как Ван Дамм, и его любимые отбивные с кровью не в моем вкусе. Так, могу вмазать по челюсти, если надо, — кому охота, подходите. Но скажу как на духу, приключения в духе Рембо, Рокки и прочих маленьких гигантов большого экрана оставляют меня равнодушным.

В общем, далек я от идеала девиц со школьной дискотеки — хотя рост у меня выше среднего, но бицепс от трицепса с трудом могу отличить. Как вы уже поняли, на приключения, связанные с опасностью для жизни, меня не тянет, ведь больше всего на свете я люблю покой и хорошую пищу. Меня никак нельзя отнести к тем типам, у которых под задницей сто ежей и все они ползают, — эти ребята плохо спят по ночам, если с ними какое-то время чего-нибудь не случается. Вместо авантюры я люблю завалиться на диван с книжкой и выключиться из повседневности, невнимательно пережевывая бутерброд с повидлом. А еще люблю встречаться со старыми верными друзьями из нашей бригады, а при встрече откусывать с ними бутылочку-другую какого-нибудь горячительного напитка из благородных. Вот это — в моем вкусе.

Однако «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...» — это старикан Данте сказал про меня. Это прямо-таки сюжет моей истории. Правда, лес покажется кое-кому не столько средневеково-сумрачным, сколько обыкновенным, среднерусским... Но кажется, я забегая вперед.

Итак, С. Копцев. Холост. Беспартиен. Образование ниже среднего (шутка юмора). Занимался я в своей жизни всем помаленьку — чем только не занимал-

ся! — даже приторговывал на рынке женскими сумками «Made in Урюпинск» одно время. И по свету поколесил достаточно, деньжат малость срубил — на пару лет хватит. Трудовая автобиография у меня богатая: шатался по Сибири с разведпартией геологов, ловил рыбу на Сахалине и даже короткое время состоял генеральным директором одного небольшого акционерного общества. В принципе акционерным обществом нашу организацию трудно было назвать, единственное, что мы имели в наличии, — это хорошую бумагу фабрики Гознак и высококачественный цветной ксерокс, но именно благодаря такому скудному инвентарю я сейчас имею возможность жить безбедно. В общем, я, как говорится, свободный художник. Так, ничего серьезного, кое-где пописываю, кое-что почитываю, кое-где подрабатываю... В моем активе, например, одноактная пьеса с названием «Мертвые сраму не имут», в которой герой, с трудом продравшись через заросли цветистых фраз типа «Быть или не быть — вот в чем петрушка!», вскрывает себе вены, произнося нудный тридцатистраничный монолог в духе Джойса. Короче, Шекспир задохнулся бы от зависти, конечно, если бы умел балакать по-русски и связался со мной на предмет «дать почитать».

Жизнь в родном муравейнике еще с малолетства казалась мне на удивление скучной и обыкновенной. В серую муть московских будней всегда хотелось добавить хоть немного перца и соли. Хотелось муската и амбры, ванили и корицы, хотелось белого неба Африки и зелени девственных лесов Амазонки, вечных снегов Памира и голубизны Карибских островов, желтого света лондонских улиц и парижской бурой глины на ботинках. Бурно хотелось, до сладкой дрожи в коленках. А вместо этого — пресный среднерусский суррогат, необходимость бороться за копейку и — скука. Ну тогда я и отправился побродить пару лет по белу свету, деньжат заколотить, чтобы пару лет пожить, не

беспокоясь о монете. Бродил, бродил, да так загулял, что вернулся в родные пенаты только через несколько лет — и как будто попал в другую Вселенную.

Вот теперь живу на отшибе большого города, замкнувшись в четырех стенах обыкновенной московской квартиры. Времени у меня навалом, его некуда девать. Некуда размотать эти бешеные 86 400 секунд в сутки. Только и радости в жизни, что, бросив заниматься самоанализом, отправиться, например, к Славке Бешеному, прихватив бутылку белоголовки.

Кстати, Славку Толенкова мы прозвали Бешеным еще в классе восьмом, за то, что он дрался как взбесившийся бык — без оглядки, неистово, ярко. Его глаза наливались злостью, он бестолково махал руками, как мельница, не чувствуя боли, ударов, разбитого носа и вкуса крови во рту. Мы уважали Славку за эту способность впадать в состояние почти ритуального транса и прозвали его Бешеным, чтобы отличить от другого Славки, Маленького — так мы называли нашего Гофмана. Славка Гофман был на самом деле небольшого роста, кареглазый, с бурной порослью соломенных кудрей на макушке, в нашей одновозрастной компании он был самым молодым, отставая от нас на целых два года. Поэтому мы и относились к нему как к ребенку — несерьезно, но с тайной нежностью и легкой иронией.

Мы — это наша компания. Двенадцать друзей, двенадцать ухмыляющихся физиономий со старой черно-белой фотографии, двенадцать молодых, полных сил парней, объединенных еще со школы полусмешной-полусерьезной, немного карикатурной затеей. Затеей, которая имела металлический привкус трофейного оружия, найденного в болотах после войны, привкус ветхого мундира из бабкиного сундука, аромат чужого языка, похожего на удар хлыстом, — и острую притягательность запретного плода. Это мы, двенадцать, — Шестая штурмовая бригада, «шутц штафельн».

Днем, в школе, все мои приятели прилежно носили пионерские галстуки или комсомольские значки, активно участвовали в общественной жизни, честно помогали переходить старушкам улицу и вообще выказывали себя примерными учениками и последователями дела партии (а партия тогда еще была, и дело у нее тоже было), но после занятий сбрасывали с себя маски пай-мальчиков, доставали фуражки с высокой тульей и черные эсэсовские мундиры, выволакивали из гаражей старенькие мопеды и новые мотоциклы «ИЖ-Планета» и носились по нашему микрорайону, нагоняя на обывателей панический ужас. Ревели мотоциклы, обдавая случайных прохожих бензиновой гарью, ветер трепал одежду, швырял в лицо пригоршни холодного дождя, блестели лужи, вбирая в себя операционный свет фонарей, а мы мчались по притихшим улицам черной стремительной стаей — грозной, безжалостной, способной на все. И нашу Шестую бригаду боялись все.

«Шестая» — словечко вовсе не для красоты. И вовсе не потому, что на свете существовало еще пять подобных бригад. Нет, мы были тогда, наверное, единственными в своем роде (это сейчас полно молодежных организаций типа гитлерюгенда). Шестая бригада — потому что мы все обитали в Шестом микрорайоне Бирюково и там же боролись с другими подростковыми бандами, охраняя свою территорию от набегов нежелательных гостей. Мы были охраной «своего» микрорайона и «своих» жителей и одновременно — грозой и ужасом всех окрестных обалдуев из Пятого и Седьмого, которые изредка вызывали нас выяснить отношения стенка на стенку, по старинке, но неизменно терпели позорное поражение.

Штурмовая бригада — это название мы откопали в учебнике истории. Так назывались в начале тридцатых охранные отряды молодых нацистов, которые постепенно переросли в первые регулярные подразделе-

ния Третьего рейха. Нам нравилось чувствовать себя особенными, не похожими ни на кого крутыми парнями, вот мы и стали именоваться штурмовиками. Слово сочетание «шутц штафельн» будоражило кровь, запретные ритуалы фашизма вызвали интерес. Наперекор оголтелой пропаганде, льющейся с экрана, они выглядели страшно и вместе с тем притягательно.

А штурмовой наша бригада называлась вовсе не из каких-либо особых соображений, а только потому, что все тогдашние подростки бредили фильмом «Семнадцать мгновений весны» и засыпали с именами Штирлица и Мюллера на устах. Ничего более привлекательного, чем разгуливание в черной эсэсовской форме и вскидывание руки в нацистском приветствии, мы себе представить не могли. Ни «Майн кампф», ни Ницше, ни Шпенглера никто из нас никогда не читал — тогда нельзя было даже представить, что где-то можно достать эти книги, — зато «Семнадцать мгновений» цитировались нами с любого места и даже с любой буквы.

Между собой мы называли нашу бригаду — «четвертый рейх», смутно припоминая из новейшей истории, что «третий» уже был. Наша команда безоговорочно подчинялась строжайшей дисциплине, и даже фюрер у нас был свой, местный. Правда, должность фюрера из-за обилия желающих покомандовать была выборной, всего на месяц, зато целый месяц в году любой из нас мог вкушать аромат власти, испытать всю тяжесть ответственности за судьбу бригады и наслаждаться безоговорочным подчинением соратников.

Сейчас мне смешно и немного грустно вспоминать о той серьезности, с которой мы вступили в эту игру. Нам было по пятнадцать, каждый из нас уже хоть раз задумывался над тем, как и зачем он явился в подлунный мир и как победить неистребимую скуку своего существования. Мы нуждались в том, чтобы наше содружество освятилось какой-нибудь тайной, хоть са-

мой завалышенькой, и не нашли ничего лучшего, чем поднять, фигурально выражаясь, упавшие в пыль времен черные знамена. Правда, прикрывалась бригада целями важными и даже почти благородными — борьбой со всякими юными отморозками, которые зарились на нашу территорию.

За короткое время команда, которая с трех человек уже увеличилась до двенадцати, дала понять мелким хулиганским ватагам, кто в районе хозяин. Едва только добровольные помощники из числа младших школьников доносили: «Наших бьют!» — как Шестая бригада поднималась по тревоге, одевалась в униформу, садилась в скрипящие кожей седла железных коней и мчалась, разрезая упругий ветер, выяснять отношения с нападавшими.

После одной-двух массовых драк дело уже никогда не доходило до мордобития — едва только издалека слышался мотоциклетный рев, как слабонервные хулиганы из Седьмого микрорайона улепетывали со всех ног, в ужасе бросая на месте преступления отобранный у пацанов магнитофон, футбольный мячик или что-нибудь в этом духе. Совершать подобные мелкие дела бригаде необходимо было для поддержания авторитета среди местных аборигенов, хотя, надо сказать, на самом деле мы были далеко не Робин Гуды.

В общем, команда вела в основном ночной образ жизни, стараясь не раздражать гневливых пенсионеров и ветеранов войны, которым нацистская униформа и свастики на рукавах были как кость в горле. Мало кто знал, что на самом деле скрывается за внешне вызывающим антуражем, на людях демонстрировать профашистские ритуалы было просто опасно — обычно наши ребята выглядели не страшнее участников милитаристской игры «Зарница». Поэтому местные жители не стремились нас сдать в милицию, понимая, не будет нашей бригады — найдется другая шайка, которая, может, будет и покруче, и поопаснее. И вместо

скрипящей кожи и мопедов у них будет ножичек в кармане, заточенные отвертки и велосипедные цепи.

Но всё это «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» — а встретились мы снова лет через десять после распада нашей Шестой бригады. Встретились — и все закрутилось!..

Забавно было смотреть, как мальчишки с прозрачным пухом над верхней губой забурели, посолиднели, приоделись в костюмы от Версаче, в галстуки от Дживанши, обзавелись машинами, квартирами, некоторые — умопомрачительно прикинутыми женами, визжащими детьми, счетами в банках, собственными, большими и маленькими, делами и делишками, и в конечном счете все обрюзгли, поскучнели и изрядно постарели. Немного выбивался из общего благополучно-буржуазного фона, кажется, только я один со своим полубогемным образом жизни, своей бородой, вывезенной с Сахалина, и давно укоренившейся привычкой выискивать пышные эпитеты по каждому случаю в надежде вставить их в свой очередной опус.

Наше новое объединение началось так.

Вернувшись в Москву после трехгодичного сидения в тайге (не путать с отсидкой на зоне!), обалдевая от нового, нарядно-европейского облика столицы, я брел по Кузнецкому, широко открыв рот, как робкий колхозник из глубинки, впервые приехавший на Выставку достижений народного хозяйства. Искося рассматривая в зеркальной витрине потертые джинсы и видя отражение жалких клочков растительности на подбородке, которые еще недавно казались роскошной бородой, я начал понимать, что вид дикого таежного лесоруба диссонирует с современными московскими представлениями о настоящем мужчине. И мне уже хотелось с этим своим видом немедленно расстаться.

Около какого-то сверкающего зеркальным стеклом офиса меня окликнул шикарно прикинутый тип в мяг-